

LAKINSK PROJECT



Новое  
Литературное  
Обозрение



ДМИТРИЙ  
ГАРИЧЕВ  
•  
LAKINSK  
PROJECT



Новое  
Литературное  
Обозрение

МОСКВА  
2023

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6  
Г20

Редактор серии  
*Д. Ларионов*

**Гаричев, Д.**

Г20 Lakinsk Project / Дмитрий Гаричев. — М.: Новое литературное обозрение, 2023. — 200 с.

**ISBN 978-5-4448-1874-9**

«Мыслимо ли: ты умер, не успев завести себе страницы, от тебя не осталось ни одной переписки, но это не прибавило ничего к твоей смерти, а, наоборот, отняло у нее...» Повзрослевший герой Дмитрия Гаричева пишет письмо погибшему другу юности, вспоминая совместный опыт проживания в мрачном подмосковном поселке. Эпоха конца 1990-х — начала 2000-х, еще толком не осмысленная в современной русской литературе, становится основным пространством и героем повествования. Первые любовные опыты, подростковые страхи, поездки на ночных электричках... Реальности, в которой все это происходило, уже нет, как нет в живых друга-адресата, но рассказчик упрямо воскрешает их в памяти, чтобы ответить самому себе на вопрос: куда ведут эти воспоминания — в рай или ад? Дмитрий Гаричев — поэт, прозаик, лауреат премии Андрея Белого и премии «Московский счет», автор книг «После всех собак», «Мальчики» и «Сказки для мертвых детей».

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

На обложке: © Photo by Dan Cristian Pădureț on Pexels.com

© Д. Гаричев, 2023  
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2023  
© ООО «Новое литературное обозрение», 2023

Мой последний друг,

(как бывают последние вещи), я пишу это в третьем часу ночи, стараясь таким способом справиться с тревогой, нелепо, но плотно разросшейся во мне после того, как мы с К. посмотрели «найденную пленку» *Hell House LLC*, непонятно как до сих пор не попавшуюся нам на глаза: все-таки это наша, скажем так, отрасль, «сколько видено зла никакого» за эти десять общих лет проклятых туннелей и брошенных строек, столько слышано скрипа эктоплазменных червей, что удручить нас легко, удивить же много сложнее, но на этот раз, оставляя К. ночевать вне обыкновения в большой комнате, а сам отправляясь в дальнюю, где спит наша пятилетняя дочь, я из мелочного озорства заметил, что как раз в гостиной по ночам не всегда все благополучно, и не более десяти минут спустя, когда я еще не успел отключиться, К. вошла ко мне и сказала достаточно строго, чтобы я поменялся с ней комнатами, раз уж сам ее запугал, на что я посмеялся, но сейчас же встал, забрал свое одеяло

и перебрался впотьмах на привычное место, хотя и не с самым спокойным сердцем, потому что считаю К. во всем более смелым, чем я, человеком и легко заражаюсь ее волнением, ведь если уж она чем-то обеспокоена, это значит, что я должен быть обеспокоен вдвойне, так что стоило мне улечься под потолком гостиной со сгустком фальшивой лепнины по центру, который, должно быть, и смутил как-нибудь К., как подступивший было сон прошел и я вытянулся дураком на кровати, сам присматриваясь то к потолку, то к маленьким отблескам в створках книжного шкафа напротив, в электрической тишине, пробегаемой разве что шорохом снега на крыше, ровно так, как лежал в пятнадцать лет в соседнем доме в одной комнате с умирающей бабушкой, пока мама работала в ночную, и всем слухом своим, как если бы у него были руки, держался за игрушечный свист ее дыхания, населявший невидимый воздух, умоляя его продолжаться еще и читая про себя «рыбы скользкие поют, звезды падают с луны», чтобы укачать несдающийся мозг, но лицом отвернувшись к спинке дивана: как и во всех наших квартирах, проход в другую комнату располагался посередине смежной стены, и тьма, собиравшаяся в этом месте, была невыносима, на нее было невозможно глядеть прямо, не говоря уж о том, чтобы пасти ее боковым зрением, закрыть же вовсе легкую белую дверь представлялось опасней всего, и, вспоминая все это теперь, я удивляюсь, как мне вообще удавалось заснуть в те ночи две тысячи третьего года и спать крепко, пока не возвращалась мама, после чего мы вдвоем перестилали бабушке простыню, та же следила за нами с полуиспугом-полуобидой, но уже давно не достаивала нас ни единым

словом, и только ночной ее свист, слышимый, разумеется, и днем, но лишь по ночам обрастающий смыслом, еще связывал меня с ней, а когда она наконец умерла, я несколько месяцев не решался оставаться здесь один в мамыны ночные смены и уходил тогда к своей доброй тете, где спал, впрочем, плохо, но скорее от непривычки, чем от страха, рождающегося сейчас на кончиках моих пальцев и вынуждающего их набирать эти слова, семенящие и припадающие, стыдные, никакие, но способные все же удерживать его где-то возле ногтей и не дать расползтись, раз уж мне больше не за что здесь ухватиться, кроме разве что старого рассуждения о том (хотя это тоже слова), что в этом же доме еще семьдесят девять квартир, а на этой улице еще шесть таких же домов с дверью посередине смежной стены, а в городе еще четыре или пять кварталов той же застройки, а в стране еще несколько тысяч таких городов, и допускать, что именно в той комнате, где сейчас нахожусь я, откроется чудовищный коридор, просто математически тщетно, но, в конце концов, весь наш опыт просмотра, чьи жемчужины сохранены в папке «жуть», научил нас, что чем внимательнее персонаж к оставляемым для него недобрым знакам, чем охотней он подозревает вмешательство тьмы в свои текущие дела (и зовет к себе парапсихолога, и вскрывает пол, и приносит богатую жертву), тем верней достанется он ей, никогда не спешащей и ждущей порою годами, потому что власть ее неполна без работы с другой стороны, хотя есть, конечно, исключения, но их грубость так бессовестно очевидна, что ими вполне можно пренебречь: само собой, черному демону из *Jeepers Creepers* все равно, верят в него или нет, но как раз поэтому он и не может

дотянуться до нас, а Кагутаба из *Noroi* (зачем только я называю сейчас это имя), заставляющий своих корреспондентов вязать бессознательные узлы из подручных шнуров и душить голубей на балконе, так отчаянно настоящ, что я попросил у К. в подарок футболку с его маской, желая, видимо, выказать этим дешевым приемом свое бесстрашие, но, по-хорошему говоря, японские екаи не слишком меня настигают, выражаясь забытым школьным языком, все-таки это так далеко и так мало похоже на нас, и если до конца задуматься, какая же из вероятностей на самом деле пугает меня, все окажется просто, как у женщины с кассы: что явится покойный отец или та же покойная бабушка, обещавшая, кстати, меня навещать, — ничего, пошучу, сверхъестественного, страх за триста, обиженные мертвецы, угрожающие обернуть тебя в свои гнилые пелены, натолкать земли в почищенный на ночь рот: с папой может возникнуть вдобавок кто-нибудь из советских друзей, возможно, еще с мертвым эрдельтерьером, с напевом про «бедного лемура» в разбитых зубах, попрекнуть меня тем, что я дешево продал отцовские осциллографы, а пластинки снес в мусорный контейнер, оставив лишь Гульда, которого все равно было не на чем слушать, потому что вертушки я снес туда же, — словом, даже не морок, а гнет виноватых воспоминаний, несдержанных обязательств, вроде как давно прощенных себе, но вот нет, и от мысли, что это и есть моя тьма, мне становится легко и глупо, но на деле это не освобождает, а ожесточает меня, как удар молотком по пальцам, и не это ли вынуждает копать еще новые списки на IMDb или Letterboxd, причащаться то индонезийских, то филиппинских кошмаров, среди



которых, стоит отметить, нет-нет да попадаются недурные работы, уже, однако, слишком слипшиеся в моей голове для того, чтобы я мог сейчас что-то внятно пересказать, как в ноль пятом добрых полчаса пересказывал тебе наконец посмотренную с диска «четыре в одном» «Пилу», зимним вечером в незапертом школьном саду, развалился в жарких сугробах и дыша подоженной сандаловой палочкой, принесенной тобой из каких-то гостей, не из дома же ей было взяться, под военными звездами, поворачивающимися в черном небе и черных же окнах школы, погасшей навсегда, но как будто хранящей взаперти мой испуганный призрак, влюбленный в лед подоконников и все так же ходящий в библиотеку на втором этаже «заниматься метафизикой», то есть разглядывать репродукции де Кирико в энциклопедии, пока я поднимаюсь в половину шестого и еду зевать на филфак, а по вечерам выхожу с тобой на час-полтора только ради того, чтобы побыть около тебя, чувствовать, как уверенно ты движешься рядом со мной, сообщая и мне ясный, неотменимый вес, который исчезнет наутро в седьмом вагоне, но тогда, в огромном снегу, мы были тяжелы как земля, и раскаленное пятнышко, мелькавшее между нами, выглядело почти как комета, что вернется через тысячу лет и застанет нас здесь же, и так нелепо не помнить теперь ничего из того разговора, кроме того, что я пересказал тебе фильм (кстати, не знаю, посмотрел ли ты его когда-либо потом), что, наверное, вообще было пыткой, которую ты терпел из одной только воспитанности, а я, раз начав, не мог уже ни остановиться, ни закончить все это скорее, свернув подробности, ведь без них это все вообще было бы напрасно, и к тому же я считал

своим долгом развлекать тебя, верный роли, взятой на себя еще в дальнем детстве, когда мы гуляли в разрушенном парке под присмотром твоих стариков, переживших тебя вот уже на три четвертых твоей собственной жизни, и я не нахожу в себе сил звонить им чаще, чем раз в полгода, что, конечно, в сто раз нелепей, учитывая, что мы живем в соседних домах и еще пять или шесть лет назад я приходил к ним говорить, сидеть в твоей комнате, перебирать книги, тяжкие кляссеры с монетами, просто дышать там, но всякий раз не мог избавиться от ощущения, что это мое мелькание только больше гнетет их, и с тем стал замедлять это мелькание, уверяя свое «не могу» в том, что «и не надо», как это делают те, кого я называю теперь своими друзьями, возводя кисельную крепость теории вокруг твердокаменного провала практик, но все это обычные серые хлопоты, положенные нам, вроде замены масла, замены резины, и мое озлобление здесь ни к чему, то есть лучше сказать, что я больше зол на себя, чем на кого-либо другого, что, наверное, как-то еще говорит в мою пользу, но тоже минимально, проблема скорее в том, что за перечислением своих оправданий остановиться или опустить детали еще труднее, чем пересказывая первую «Пилу», к тому же теперь зима, в городе темно и глухо, и чем ближе лес (а лес все ближе), тем глуше и темней, и когда мы выходим с моей смешной собакой под его оснеженные сосны, я вообще много говорю про себя о себе, обращаясь даже не к деревьям, а словно куда-то под землю, убежденный, похоже, что меня там слышат, раз год от года эти речи становятся все обстоятельней, так что когда собака ныряет вдруг в мелкий овражек, скрываясь из виду, и задерживается так

на какое-то осязуемое время, я начинаю подумывать, что она отыскала проход и ждет меня, чтобы двинуться дальше и глубже, но вот она выныривает наружу и несется ко мне, взрывая снег: ничего никогда не случится на этой земле, о которой я не знаю даже того, что мне следовало бы знать, и одной детской галлюцинации, случившейся здесь же в лесу, мне хватило, чтобы и по сегодняшний день не отказываться окончательно от мысли о протяженных подземных цехах, где производятся наши сны, посылаемые по вентиляции к нам в дома, а заняты этим как раз люди вроде тебя, умершие так странно, что мы не то чтобы не поверили, а опять-таки заподозрили спецоперацию, повернутую тем не менее с таким убедительным неизяществом (достаточно вспомнить твое лицо в гробу), что нельзя, нет явных оснований для того, чтобы раз навсегда принять что-то одно, а потом на осенней прогулке от известной поляны поднимается волокнистый пар, которому имени нет, или летом, пробравшись сквозь гибельные завалы вплотную к речному истоку, встречаешь невесть как проникшего сюда старика в льняной рубашке, или еж выдвигается на тебя из подлеска и дышит так страшно, как будто готов растерзать, но говорить об этом все равно не с кем: в честных глазах К. это все пусть и негрубое, но мифотворчество, «ненайденная пленка» по моему сценарию, и хотя именно вдвоем с К., а не с тобой я по-настоящему открыл эти леса, плутал в них и мок, то молчаливое согласие, что было у нас с тобой на этот счет, с ней уже не повторилось, чему есть, разумеется, много очевидных причин, все-таки мы познакомились уже далеко не детьми, но, говоря откровенно, я и не пытался достичь

этого с ней, потому что какие-то вещи и должны оставаться неповторимыми, как неповторима осталась и наша способность верить в сны друг друга, то есть не просто разгадывать их, а идти по их следу, и если тебе снилось, что дверь общества книголюбов можно открыть при помощи китайской заколки, то я лез в мамыны ящики, где хранились обломки отслужившей свое *bijouterie*, и добывал оттуда не одну, а несколько заколок, и вечером мы топали в город со скачущим сердцем, чтобы вынести с книжных полок все, что нам нужно, но для отвода глаз прихватить несколько боевиков в прокаженных обложках, которые потом все равно будет можно, допустим, продать или подарить кому-то из недалеких друзей, только затем нам и нужных, чтобы сбывать такой шлак вкупе с той неизбежной черной мужской накипью, что заводится и в самых чутких, бросая их на трубы за общежитием, а то на футбольное поле, где ты единственный из всего поселка действовал хуже меня, в основном ходя тупо пешком подальше от возни за мяч, и хотя это вряд ли было осознанным жестом благородства (ты был действительно неповоротлив для этой игры), я не могу до конца отмести эту гипотезу, потому что это была как раз твоя роль, взятая тобой вскоре вслед за тем, как я выбрал свою: ты всегда прикрывал меня, убирал за спину от идущих навстречу в поздних аллеях и первым поднимался на чердаки к темным приятелям, и нужно ли объяснять, что твое исчезновение меня обнажило, оставило на расклеившемся, от кого ты меня заслонял все эти девять общих лет с несколькими, впрочем, длительными размолвками, во время которых я чувствовал себя пусть одиноко и, может быть, кинуту, но не так уязвимо, как это началось

четырнадцатого октября ноль седьмого и, как видим, все еще подступает ко мне и сегодня, раз неосторожный ночной просмотр заставляет меня обращаться к тебе с этой сбивчивой речью, воображая ее движение вниз по вентиляционной шахте и дальше, под двором, спортплощадкой, самодельными гаражами и лесом, туда, где развернут ваш подробный труд, тщательное производство, вид которого в моем представлении схож с текстильными коридорами, куда меня в первом классе приводила мама, — все эти полупрозрачные нити, вздрагивающие пересечения их, — хотя, может быть, дело здесь всего лишь в том, что это единственное промышленное место, в котором я побывал в своей жизни, протекающей, как это хорошо тебе известно, с шести лет в библиотеках и с тринадцати в разного рода редакциях, но, как бы то ни было, представляя себе эти подземелья в самых дурацких подробностях и бродя по ним до потери рассудочных сил, я, кажется, не вижу там вообще никого из тех, кто мне как-то знаком (при том что я фотографически помню, допустим, всех наших школьных охранников), что, с одной стороны, разочаровывает меня, но с другой — придает этим залам тот мертвый блеск ненавязчивой подлинности, который удается находчивому постановщику, даже если тот снимает очередную счастливую семью в несчастливом доме, и лица, сами по себе не обещающие вроде бы ничего, начинают обещать сразу все, но как раз тогда я и теряюсь, прогулка схлопывается, мне показывают заново какой-нибудь дешевый сон из университетских времен, за который и тогда было неловко, а наутро и потом еще требуется усилие, чтобы подумать об этом не как о насмешке, непонятно откуда упавшей мне

в череп, звякнувшей и прогоревшей, но, даже считая это насмешкой, нужно все же ответить себе, кто ее отпустил, уронил, и я вспоминаю, как в один из твоих приступов душевной одиннадцатилетней мудрости ты сказал, что наше с тобой главное отличие состоит в твоём умении — и моём, стало быть, неумении — смеяться над собой: прости, но я уверен, что ты выцепил это из вкрадчивой песенки-хуесенки, звучавшей во время титров сам-себе-режиссера, что, однако, не отменяет твоей правоты: я действительно никогда не умел посмеяться ни над своими неудачами, ни над собой в целом, но не потому, что как-то особенно серьезно к себе отношусь, а, видимо, потому, что «всякий человек достоин только жалости», и эта моя неспособность, только окрепшая с тех далеких лет, не дает мне допустить, что я дразним своей собственной выдумкой, отнявшей у меня довольно времени и теперь развивающейся самостоятельно и бесконтрольно, но по-прежнему только в моей голове, что оставалась, так скажем, на месте и в самые дерганные времена, когда наши с тобой одноклассники громоздили себе перед сном человеческий лес из поставленных друг на друга ровесниц, пирамиду из скользких бокалов, по которой вместо шампанского стекало их бесконечное семя: стоит ли говорить, что нам тоже хотелось, но мы все-таки были скромнее в нашем воображении, и нам все равно больше нравилось фантазировать о смерти, чем о чутких девичьих недрах (здесь, конечно, сыграло роль и то, что ты достиг их раньше меня и широко пользовался ими как раз в самую долгую нашу ссору): так, в одну из последних уже зим, вечером, когда ты вдруг оказался небывало свободен, мы ушли на городское кладбище, и там, среди одинаковых

синих сугробов, ты сказал, что если свести твой мысленный рай к одной картинке, то это будет август и высокий берег реки перед грозой, а что ты говорил про ад, я уже не припоминаю, — возможно, что не говорил вообще ничего: мы не очень в него верили, даже не почитав еще Бердяева (ты его все равно так и не почитал), потому что даже для нас это было, наверное, слишком просто, проще, чем самое древнее папино порно, хотя, строго говоря, это сравнение нехорошо: до папиных кассет еще было нужно добратся, выбрать время и продумать отходные маневры, так что сама извилистость этого пути с отступлениями сообщала материалу серьезность и тяжесть, тяжесть и нежность, которые абсолютно не принадлежали ему изначально, но сделаем вид, что мы обращались к самой сути вещей, и продолжим: кажется, в тот кладбищенский вечер я не стал позорно торопиться с ответной картинкой рая, не стану спешить и теперь, но скажу, что ад пару месяцев назад заметно обжег мне эти самые пальцы, когда один из двух моих школьных товарищей, с которыми я как-то общаюсь, добавил меня в чат «ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ!!»: сперва я отключил уведомления, а где-то через час, когда счетчик непрочитанных сообщений перевалил за полтысячи, заглянул наконец внутрь, и все эти полуграмотные пошучивающие голоса, стремительно поднявшиеся ко мне с темного дна и потянувшие к себе, оказались невыносимы настолько, что я потерпел еще какое-то небольшое время и слился из чата, и еще через время товарищ, добавивший меня, спросил, почему я ушел и не обижен ли я на что-либо, но ты знаешь прекрасно, что «это у них со мной были проблемы», а я мучился разве что тем, что мне не с кем было

поговорить, и с досады искал, как задеть их, то есть я был обыкновенный надменный мудак со словарным запасом, а по прошествии многих лет, видимо, поверил в своем подостывшем мудачестве, что всех победил и отменил просто потому, что никого из них больше не вижу, и вдруг нарисовавшаяся перспектива увидеть всех их сразу живыми и, скорее всего, вполне счастливыми людьми при своих делах меня так пошатнула, но спасся ли я, затворив этот говорящий ящик, оставив их там поворачиваться и светиться самим для себя, — как сказать, как сказать: меня уничтожает не само их беспечное и ненужное мне продолжение, а моя неготовность стоять с ним лицом к лицу, смиряться с ним, как с погодой или новым отбитым законом: я не желаю им ничего плохого, как это было сразу после тебя, когда я хотел, чтобы все, кому сейчас тоже двадцать, тоже были мертвы, но я все еще не могу подобрать для них оправдание и словно бы закрываю глаза на то, что меня с ними объединяет одна фундаментальная тема: нам повезло, мы остались, и нам не стыдно, потому что и мы пили в странных компаниях и городах, возвращались домой опасными поездами и вообще выебывались не меньше твоего, но беда обошла нас, нас максимум пару раз хорошо отлупили, или менты отобрали все наши деньги, а тебе, да, не повезло в одной-единственной вылазке в Лакинск, город, в чьем имени я, кажется, ненавижу каждую букву отдельно, и старики, что привезли тебя оттуда в наш родной ногинский морг, во всяком разговоре потом повторяли, что ты так наглупил с этим Лакинском, как будто в каких-нибудь Петушках или Киржаче с тобой бы точно ничего не случилось: нет, ты жил, как тебе было нужно, и ездил туда, куда



тебя влекло, и я отпускал тебя со спокойным сердцем, уговаривая свою ревность тем, что чувствовал стоящую в тебе тьму и полагал, что тебе необходимо больше пространства, чтобы ее рассеять, а потом, когда она вновь стечется к тебе со всей Мещерской изменности, снова уезжать прочь к людям, которых я знать не хотел, и не слать сообщений, я готов был терпеть это вечно, но мне, как и было сказано, повезло, как и тем из выпускного чата, а тебе нет, ты проиграл раньше нас, и мне было бы интересно знать, куда делась та самая тьма, чьим сосудом ты был, пока жил, не примешана ли она к зимней ночи, где я это пишу, не стоит ли она сейчас в нашей ванной, нельзя ли как-то ее испытать, помнит ли она форму твоего тела, твой запах, твои пятна нейродермита, сколько ей лет, как она оказалась в наших краях и как выбрала тебя, называли ли ты ее каким-нибудь именем, предлагал ли другое вместилище, случалось ли так, что ты плакал, говорил ли ты ей обо мне.

Я гоню: это было написано не за одну ночь и не за две, какие-то куски вообще писались днем, но начато было как сказано и кончено тоже ночью: после я снова долго не мог уснуть, слишком много всего еще дергалось в голове, но в третьем часу последние мысли погасли и вместо них меня оцепил тихий, медленно идущий кругом неуют, такой, что накрывает порой в гостинице или чужом доме, но в конце концов, когда эта квартира была моей: за эти шесть лет я ничего не устроил здесь так, как мне бы хотелось, потому что мне и не хотелось. Но об этом я тоже подумал потом, а тогда, лежа лицом к стене и опасаясь пошевелиться,

я, уже было засыпая, услышал за спиной слабый хруст, от которого у меня взмокли ладони: это был совсем воздушный, но и совсем отвратительный звук, к счастью, не повторившийся больше (я ждал), а наутро К. догадалась, что это шумнул отсохший и отпавший от растения на подоконнике лист, и я было опять рассмеялся, но все же осекся, подумав, как запросто я примирился с этим хрустом за своей засыпавшей спиной, причина которого между тем была совершенно темна мне: я не ухаживаю за нашими растениями и едва ли когда вспоминаю о них, то есть у меня не было даже отдаленного объяснения этому звуку, и я решил, что так и надо, мне нужно спать и не думать, что что-то прямо сейчас пошло не так; и теперь, когда я пишу это, меня больше всего озадачивает эта моя готовность принять любую причину и всякое возможное следствие того, что я услышал (стоит, впрочем, полагать, что если бы это был не хруст, а, допустим, какое-то слово, то я бы повел себя иначе, но и в этом я не могу быть уверен: может быть, от ужаса я бы только скорей провалился в сон).

Дело, видимо, отчасти в том, что за месяцы эпидемии и удаленной работы эти вшивые стены напитались моими соками настолько, что я уже почти перестал представлять свою жизнь развивающейся где-либо снаружи них: говоря совсем коротко, я по общей инерции допускаю, что здесь я и умру и этот потолок с поддельной лепниной из полистирола будет последним, что я увижу, а раз примирившись с местом, примиряешься и с остальным: если я согласен с тем, что это случится здесь, почему я должен как-то особенно восставать против того, что это случится сейчас. Хотел бы я знать, что страшило тех, кто жил здесь до меня

(может статься, что я все никак не замечу чего-то), а также существуют ли живые люди, боящиеся, например, войны или голода, как о том пишет литература, а не шоркнувшего ночью сухого комнатного листа, не навязчивого хрипа в собственных легких, не шумящих в подъезде ебланов; а еще: не от голой ли тоски я населяю свое жилище, куда уже долго не ступала никакая дружеская нога, этими папиными мертвецами, тяну их наружу из давно простывших могил, как будто мне есть или когда-либо было что́ сказать им? Отец делил с дядей Валерой сарай возле Новых домов: полный необъяснимого старья, внутри он казался маленьким театром, в котором вот-вот должен начаться спектакль для меня одного. Чуть подальше был расположен участок неприятного мне дяди Юры, туда вела тесная тропа меж чужих заборов: хозяин его возникал еще на середине пути со своим животом, волнующимся под слепяще-белой майкой, неотвратимый, как статуя: как и отец, он любил надо мною подтрунивать и тоже страдал идиотской привычкой пожимать мою пяти- или шестилетнюю кисть так, словно ему было предсказано погибнуть от этой руки, если та еще хоть немного разовьется; несколько таких рукопожатий спустя я улучил подходящий момент, когда взрослые были заметно расслаблены затянувшимся разговором, и без какого-либо повода пнул стоящего передо мной дядю Юру ногой в живот (как я понимаю, мне пришлось ее порядочно задрать). Не думаю, что я причинил ему явную боль, но отпечаток своей подошвы на майке я помню прекрасно; отец же, чей стиль общения со мной, как я уже сказал, не сильно отличался от дядюриного, будто бы осознал мои мотивы, и я не помню, чтобы он заставил меня извиниться

за этот выпад. Дядя Юра: я не знаю о тебе ровно ничего, кроме того, что здесь записано, и того, что ты давно мертв, но, кажется, я все еще жду твоего ответа: ты мог бы просто вырасти вслед за своим животом из этого выпуклого белого пятна над моей головой, но сперва за окном должны взяться два черных высохших дерева, что были видны тогда далеко за сараями, если чуть привстать на мысках у бесплотного дощатого забора: я приподнимался и тотчас опускался обратно, не смея глядеть на их задранные когти дольше, наверное, полутора секунд, а еще страшней было бы приподняться еще раз и увидеть, что они пододвинулись ближе ко мне; от этой жуткой догадки мне хотелось перестать расти, и, дойдя наконец до проклятого двора дяди Юры, я жался там к уродливым, но живым яблоням, обещавшим мне хоть какое-то покровительство.

Отец родился в этих самых Новых домах: тогда им было всего полвека, теперь сто и еще двадцать лет, но зовут их все так же; умер же он в соседнем квартале, в квартире у сестры, перед этим успев напоследок вернуться в ДОМЪ 3, где разместилось наркологическое отделение, а следом и в ДОМЪ 2, для психических: это последнее грустное приключение, точных причин которого я уже не вспомню, заметно его раздосадовало, он чувствовал, что с ним поступили несправедливо; в наркологии же, где он лежал даже дважды, папа ощущал себя вполне по-свойски и в один из моих приходов передал мне обернутую в газету стопку жестяных мисок, которые посчитал нужным увести с больницы кухни. Замызганные изнутри и снаружи, Новые дома оставались непоправимо великолепны: окна их бесконечно вытягивались ввысь, а кирпич, потемнев, будто бы

обращался в гранит; под самыми же их крышами широко белели просторные козырьки, и именно здесь я единственный в жизни раз видел Бога: он стоял на центральном, возвышенном от двух других навесе, большой, в длинном словно бы мраморном платье, недышащий и гудящий как провода над просекой, но ему недоставало головы, над круглыми его плечами не было ни сияния, ни какого-нибудь, скажем, контура или каких-нибудь, пусть неизвестных мне, букв; гул же все возрастал и плотнел, и я, не совсем зная, как мне быть, лег вниз лицом на теплую летнюю землю, чтобы он точно понял, что я узнал его, но как только перед моими глазами встала земляная темнота, гул стремительно превратился в бешеный свист, как если бы это был авианалет; я затрясся, и все затряслось вместе со мной, и отец, всегда что-то знавший об этом, но не хотевший мне говорить, вдруг произнес прямо в мой затылок: видишь, это совсем не так, как написано в священной истории.

Самый странный кошмар об отце был таким: я терял его в сером, безлиственном лесу, по всем ощущениям похожем на успенский, где я и сегодня хожу как чужой, а потом, разыскивая, находил его у себя под ногами, на тропке: он был как бы весь скрыт под землей и только лицо оставалось видно, но едва я заглянул в его глаза, как оно обратилось в лужицу пепла, будто от небольшого костра. После этого я оказывался у него дома, один, в полностью ободранной и от этого казавшейся огромной квартире, с внезапно бесшумной горьковской трассой за голыми окнами, а потом отец появлялся за балконной дверью, как раз напротив входной, не просясь внутрь, а как бы в виде памятника или большой птицы, и хотя

нас разделяло всего только стекло, он был таким далеким, как если бы я увидел его лицо на луне. Был отец жив или мертв, когда мне это снилось, — этого я уже не могу сказать наверняка, но я помню точно, что проснулся с полными глазами слез, так я был раздавлен. Его не стало, когда мне исполнилось пятнадцать, и за несколько последующих лет я написал об этой смерти три или четыре рассказа, каждый раз объясняя все заново, но ни в одном из них не был до конца честен, не буду и в этот раз; сейчас половина второго ночи, мои крепко спят, и я набираю это на пожилom, но верном ноутбуке, сидя в комнате, где ничего не может произойти, краем глаза следя за откатившимся к книжному шкафу салатным фитболом, с которым куражилась вечером дочь: форма его одновременно благородна и зловеща, внутри него заключено мое дыхание: почему я уверен, что оно не обратится против меня? Но все-таки вещи никогда меня не преследовали, разумеется, если не сводить до просто вещи карамельного Иисуса в плоской металлической раме, которого я выпросил у бедной мамы в период своего увлечения той самой священной историей и сопутствующими картинками: пухловатый и женоподобный, чуть задремывающий на стене над моей кроватью, он с самого своего появления в нашем жилье вел себя ненадежно, не столько по ночам, сколько днем наполняя квартиру тонким веянием тревоги, от которого можно было скрыться единственно в туалете, а когда, переждав приступ, я выходил и решительно шел в дальнюю комнату, где висела картинка, чтобы выказать ей свое запоздалое бесстрашие, на карамельном лице чуть расцветала презрительная усмешка.